

СОЗВУЧИЯ

Е.А.ТРОФИМОВ

МИР ЖУКОВСКОГО В ТВОРЧЕСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ ДОСТОЕВСКОГО

Творчество Достоевского вырастает и из открытий русского романтизма¹: из метафизичности образа. Романтики, уповая на идеальное и провозглашая его, способствовали утверждению нового отношения к действительности. Соответственно, литература должна была стать посредником между Создателем и человеком, между сущностью Божественной и земным языком. Некоторые прямо осознавали художническую задачу вести и увлекать к Творцу. Жуковский – из числа тех, кто принял такую логосность как поэтологическое задание, смысл творчества. Мир поэта – стремление преодолеть границы смертного существования и слиться с вечностью, спастись от греха в полноте и цельности жизни Бога, мир религиозно-созерцательный. Идеалом является Божественное в его совершенстве, безусловном, благотворном и дарующем. Однако, как это свойственно романтикам, противоречивое мировидение заставляет Жуковского остро переживать несовпадение, несводимость текучести здешнего бытия и торжествующего Господнего. Противоречие между изъятием дольного и гармонией горнего для взора поэта столь зияюще, что не остается уверенности измениться в видимой действительности, все концентрируется в уповании на промыслительную неизведанность, недостижимую. Экстазис духа, поднимающий личность за пределы физические и исторические, не был волевым и действенным в полной мере. С другой стороны, Жуковский, как никто, смог высказать в русской литературе мысль об очистительных способностях духовной обращенности к Богу, о присутствии Божественной красоты в мироздании, стало быть, – о связи человечества с Создателем². По словам Б.К.Зайцева, экзистенциальной темой поэта стала: “...слава Творцу, жизнь приемлю смиренно, всему покоряюсь, ибо везде Промысел”³.

Достоевский познакомился с произведениями романтика еще в юности,

хотя они не воспринимались как нечто абсолютно самостоятельное, скорее — сопутствующее имени Шиллера. Вместе с тем ценность их была несомненна. Брат писателя вспоминал, сколь высоким авторитетом у читателей начала XIX века обладала поэзия Жуковского, как чтили ее в семье⁴. А.И.Савельев также называет поэта среди тех авторов, которых любил Федор Михайлович, будучи учеником Главного инженерного училища⁵. В “Дневнике писателя” признается особая роль Жуковского, давшего продолжение шиллеровской музе, что составило “почти период в истории нашего развития” (23; 31). В кажущейся неоригинальности видится воплощение настоящего русского духа, “общечеловеческого” назначения его, примета “общеслужения человечеству”, “всечеловечеству” (23; 30 – 31). Когда Достоевский размышляет о достойной передаче “глубочайших форм духа и мысли европейских языков” на русском, когда полагает, что некоторые из поэтов и мыслителей Европы уже переведены “в совершенстве” (23; 81), то, без сомнения, вспоминает и о Жуковском, возможно, о Жуковском в первую очередь. Романтик стал для Достоевского примером всемирного назначения России, знаком ее грядущей роли в отношении Запада. Это — русский голос, обращенный к собирающемуся воедино человечеству. Одна интонация такого собора — в “Подростке”.

Особенно выделяется мотив сообщенности земного обитания и Бога, непосредственно отнесенный к поэту, но без характерных для того разрывов реальности и идеала. В подготовительных материалах к роману содержится ссылка на знаменитую элегию Грея “Сельское кладбище”, переведенную и переосмысленную Жуковским. Слова Макара Долгорукого “Праотцев помнить, а и не попомните — пусть, а я с вами” (16; 342) — реминисценция из текста элегии. Автор “Подростка” упоминает перевод 1802 года, поскольку в более позднем — 1839 — Жуковский убирает слово “праотцы”, оставляя “предки”, “поселяне”, “отцы”⁶. В раннем варианте строки звучат так: “Здѣсь праотцы села, въ гробахъ уединенныхъ // Навѣки затворясь, сномъ непробуднымъ спять”. Элегическая тема оживает в контексте предполагаемых идей о взаимответственности людей, о предстоянии за другого перед Творцом, о благообразии. Она наполняется смыслом единения человеческих душ, скрепления миропорядка. Макар Долгорукий размышляет, обращаясь к Аркадию: “...знаешь ли ты, что есть предел памяти человека на сей земле? Предел памяти человеку положен лишь во сто лет. <...> И зарастет его могилка на кладбище травкой, облупится на ней бел камушек и забудут его все люди и потомство его, забудут потом самое имя его, ибо лишь немногие в памяти людей остаются — ну и пусть! И пусть забудут, милые, а я вас и из могилки люблю. Слышу, деточки, голоса ваши веселые, слышу шаги ваши на родных отчих могилках в родительский день; живите пока на солнышке, радуйтесь, а я за вас Бога помолю, в сонном видении к вам сойду... все равно и по смерти любовь!...” (13; 290)⁷. Такого настроения нет ни в образце Грея, ни в “Сельском

кладбище” Жуковского. Достоевский предлагает новое решение темы. Признание тайны бытия не мешает прочувствовать, насколько прозрачен земной мир для любви великой и всеобъемлющей, без которой ему не быть, Божественной, насколько близко он зрим душой, к Господу вернувшейся, отошедшей и ради молитвы. Складывается картина неиссякаемого, неисследимого, непрекращающегося памятования. Не рушится цепь человечества, не рассыпается его круг, ибо чаемо время, когда все скрепится раз и навсегда.

Условие и причина соединения во всечеловечество – любовь Христова. То причащающее милосердие Творца к созданному по образу и подобию Его, без веры в которое тяготит отчаяние или томление. Любовь Божеская цветет в человеке. Она центр и основание отношений между людьми. “Свет незаходимый”, грядущее апокалиптическое блистание преображенья. В английском оригинале образы – плоды просветительской идеологии и фразеологии сентиментализма, отзвуки их, естественно, сохраняются в изложении Жуковского. Например, тема внесловной ценности человека, чувствительности и чувствительной души. Но не они организуют целое русского “Сельского кладбища”. Внимание перенесено на аспекты рокового преследования, на оппозицию смерти и жизни, свободы и предопределенности, духовные состояния субъекта. Акцентируется то противоречие, которое станет главным в зрелой романтической лирике Жуковского: греховность – несчастье падения, настоящего, длящегося // обретенность Бога – счастье, будущее, возвращающее в прошлое, к утраченному раю. Не случайно, переводя в 1802 году эпитафию, завершающие три строфы греевской элегии, поэт выбирает слова “греховно”, “земные тревоги”, “жив”, “Спаситель”, отсутствующие в оригинале:

*Прохожій, помолись надъ этою могилою;
Онъ въ ней нашелъ пріютъ отъ всѣхъ земныхъ тревогъ;
Здѣсь все оставилъ онъ, что въ немъ грѣховно было.
Съ надеждою, что живъ его Спаситель-Богъ.*

Последняя строфа элегии Грея такова:

*No farther seek his merits to disclose,
Or draw his frailties from their dread abode,
(There they alike in trembling hope repose),
The bosom of his Father and his God^d.*

Создавая прочтение 1839 года, Жуковский более точен как переводчик и близок семантически к оригиналу, хотя даже лирический тон значительно, сущностно изменен по сравнению с греевским:

*Путникъ, не трогай покоя могилы: здѣсь все, что въ немъ было
Нѣкогда добраго, всѣ его слабости робкой надеждой
Преданы въ лоно благого Отца, правосуднаго Бога.*

Прежде всего расходятся последние строки двух вариантов перевода. У Грея итог завершает тему предков, содержа указание на приют у “Отца”, у “Бога”. В пратексте сохраняется органика поэтического размышления: предок и Господь упомянуты наравне. Жуковский же будто забыл все выше написанное им, эпитафия приобретает некоторую самостоятельность. Но и русский текст вполне органичен: в плане нового мирозерцания, устремленного к Искупителю, возвратившему рай. В 1839 году слово обрело большую смиренность, упокоенность, его покидает драматизм, оно обращено теперь к Богу-Отцу, стирается в нем апофеоз искупления.

Достоевский, безусловно, идет по стопам Жуковского 1802 года, тем более, что райская жизнь — тот предел, к которому, по мысли автора “Подрустка”, призван каждый. О рае много говорит на страницах романа Макар Долгорукий. Однако смыслы оказываются строже и пронизательнее, чем в романтических произведениях. У Достоевского госпожа не надежда, а вера в грядущее сплочение человечества, неизбежно свершающееся воскрешением из мертвых, зиждемое на той крестной красоте любви, силу которой пытается объяснить Аркадию Макар. В его словах нет и намека на роковое гонение, взамен — уверенность в благообразии жизни. Все, всегда и везде узаконено и благословенно милосердием Господним. Грех — лишь тень, он не самостоятелен. Промысел — не стезя страха и непосильной ноши, а простор благодатной, причастной радости, озаренного покоя вне страстного. Молитва гласит: “Исполнение всех благих Ты еси, Христе мой, исполни радости и веселия душу мою и спаси мя, яко един Многомилостив”⁹. Веселие — от чистоты сердца, изгнания греховности. Благодаря мудрости памяти, покаяния и молитвы “случайное семейство” становится сообщностью, а беспорядок преобразуется в красоту. Рай на земле — от лукавого. Но рай небесный начинается уже в зримых границах бытия.

Оценивая “Анну Каренину”, автор “Дневника писателя” 1877 года подчеркивает, что окончательная судьба человека известна лишь Богу, а потому дело человеческое — поклониться “перед законом неразрешимой еще тайны”, прибегнуть к “единственному выходу — к Милосердию и Любви” (25; 202). Чтобы спастись от тупика, надо обрести исход — преобразование в “существа высшие, в братьев, все простивших друг другу” (25; 202). Это — простор “всепрощения” (25; 202). Обретение его здесь, во времени, оно действительно, а не только упоительно и мечтательно. Чаемо и достижимо в реальности. Так духовный статус лирического субъекта Жуковского, выросший из христианской веры, приобретает в романе Достоевского подлинно онтологическое осмысление. Образ истекает от сути мироздания. Жуковский не знает подобной гармонии мироотношения. Роднит же писателей осознание главных антиномий бытия. Однако если Достоевский находит благодатный путь их преодоления, то романтик все-таки остается им подвластен.

Странник поэта (“пѣвец уединенный”) — в “горести”, “задумавшийся”,

“прискорбный”, “сумрачный”, “съ главою наклоненной”, ему “ничѣмъ души не усладить”, странник-скиталец, бесприютный, ищущий Высшего и Всевышнего. Герой Достоевского не мыслит себя несчастным, как вообще вне Бога. Он ищет найденное, Того, Кто не потерян. Оба литературных образа объединяет идея о благодарованности самого поиска, о преодолении, в том числе и молитвенном, греховной ущербности и обретении вечности.

Отдельное место занимает мысль о молитве. С эпитафией “Сельского кладбища” связаны слова Макара о грешниках и самоубийцах: “...помолись за сего грешника умиленно; хотя бы только воздохни о нем к Богу; даже хотя бы ты и не знал его вовсе, — тем доходнее твоя молитва будет о нем” (13; 310). Молитва — истинная, нервущаяся ткань жизни, мост, соединивший берега.

При всей трагичности мирозерцания Жуковского, в элегии доминирует некоторая наивность взгляда, нет сугубого переживания или скрытой рефлексии относительно онтологической трагедии человека. Поэт скорее констатирует эмоции и идеи, дабы их высветить. Они почти на поверхности текста. Достоевский воспроизводит трагедию греха, которая давно разъяла мир, проникла в его глубину, стала обыкновенной, а потому-то, как боль, она не только помнится, но переживается, ей ищется объяснение, ее хочется устранить, и рецепты при всей универсальности всегда конкретны и неисповедимо индивидуальны. Жуковский иногда невольно оборачивается в сторону бездны. Достоевский смотрит в нее.

Слова Макара будто бы сплошь окрашены в оттенки “розового” христианства, но за этим кроется столкновение эсхатологического масштаба, прозрачность текста являет метафизическую глубину. Греховному падению нужно противопоставить христианское подвижничество, в пустыне ли, в странничестве ли, в мирской ли жизни. Задача — просиять, преобразившись, вступив на дорогу в Небесный Иерусалим. Начало изливающегося сияния — в изменении каждодневном и ежечасном, в стяжании будущего человечества во Христе еще до Страшного Суда: “...воссияет земля паче солнца, и не будет ни печали, ни воздыхания, а лишь единый бесценный рай...” (13; 311). Сияющий паче солнца, Единый Безгрешный — Спаситель. Ему должно уподобиться земное. Его должно вместить человечество. Если греховное и смертное не преодолевается личностным усилием в восприятии Жуковского, оно устраняемо исключительно Божественной волей, в обретении качественно другой жизни, то для Достоевского грех уже поражен приходом Искупителя, результат борьбы явлен, и человек обладает невиданной энергией, уподобленной Божественной в последней духовной брани за судьбы мира. Каждый причастен и каждый способен стать орудием преобразования, заложить в душе своей основу вечной осанны, выполнив Создателем данное поручение, действительно причаститься Богочеловеку и собраться в Богочеловечестве. Апокалиптическая огласовка “во веки веков” чужда “Сельскому кладбищу”.

Идея смертного преступления и благости искупления со всеми присущими разным творческим сферам нюансами смысла обращает “Подросток” еще и к “Двенадцати спящим девам” Жуковского. Эта “старинная повесть в двух балладах”, вероятно, упомянута в черновых вариантах “Идиота” (9; 270). Основой для баллад послужил прозаический роман немецкого писателя Шписа. Однако Жуковский погружает события в план противопоставления ада и рая, греха и безгрешия, смерти и жизни, дьявола и Бога, дабы обозначить недвусмысленно свой идеал.

Сравнивая “Подросток” и “Двенадцать спящих дев”, следует обратиться к двум образам, несомненно, параллельным: Громобоя (баллада первая “Громобой”) и купца Скотобойникова. Сюжет героев содержит неравные по сути части: 1) греховная необузданность, 2) раскаяние и покаяние.

Отчаяние Громобоя, чем, собственно, открывается баллада, толкает его к попытке самоубийства, вызывает искушение, ведет к продаже души дьяволу, что и есть настоящее умерщвление. Падение выбрано своеволью. Желанию прилагаются все ужасные последствия. Громобой жаждет иметь “злато”, “покой”, “честь”, отказывается нести “крестъ тяжелый”¹⁰. Разрыв с Богом — пучина тьмы, дьявольская пропасть. Прельщение призрачным блеском затмевает и Божий страх, и молитву. Жуковский подробно воссоздает момент соприкосновения видимого мира с духом зла, прямое общение человека с искусителем. Однако поэт хочет проследить и внутренние духовные процессы, обрекающие личность на страшное заклятье, по крайней мере, означить их.

Макар Долгорукий не детализирует истоки душевного состояния Скотобойникова, хотя они — явно в одержимости: “...возмнил о себе безмерно” (13; 314). Полученное в результате сделки с сатаной — договора или искушения — право на обладание властью, разумеется, обманной, лживой, подводит человека к безумству его поступков. Как идола, царствуют Громобой и Скотобойников. Герой баллады — скопище демонического самоуправства и безбожной воли: “Возможно все въ его очахъ, // Всему онъ повелитель: // И сильнымъ бичъ, и слабымъ страхъ, // И хищникъ, и грабитель”. Это та демоническая власть, какую осуществляет “непобедимый владыка” пушкинского “Анчара”. Скотобойников — также ее носитель: “...все ходило по его знаку, и само начальство ни в чем не препятствовало...” (13; 314). Корень зла — в гордости, губящей душу Скотобойникова, подменяющей Создателя, в страшном демоническом отступлении.

Достоевский, ощущая тайну Творца, и Макар Долгорукий, высказывающий эту заветную мысль в романе, не объясняют в данном случае причины нарочито, специально. Зло прячется, оно не на виду, распознать его стало труднее. Но духовный подвиг складывается с такого распознавания, иначе, как червоточина поглощает яблоко, мрак разлагает душу. Не случайно, в отличие от Жуковского, героем рассказа Макара Долгорукого выбран чело-

век, имеющий в достатке хлеб насущный. Безобразие не только психологическое явление, оно заразило бытие сорняками и плевелами гордости и одиночества. В упомянутом разборе “Анны Карениной” автор “Дневника писателя” замечает, что “зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты”, а стало быть, чтобы “не погибнуть” “от убеждения в таинственной и роковой неизбежности зла” (25; 201 – 202), и надобно повернуться к Богу. Текст Достоевского пронизан теодицеей.

Выбор человека ответственен и сознателен, потому что свободен. Нужно увидеть в повседневном и привычном как искушение, так и пути промыслительные, спасающие и искупающие. Требуется прозреть, чтобы проникнуть в тайны человеческого духа. Нельзя спрятаться от вопрошания, от спрашивания за стеной уловок и оправданий. Это рождает новое преступление.

Грехов Громобоя насчитывается множество. В числе их и неограниченное сластолюбие – похищение “двѣнадцати дѣвѣ”. Много подобных “мерзостей” совершил Скотобойников, “даже всякую меру в сем случае потерял” (13; 315). Еще страшнее детоубийство. Громобой отдает сатане двенадцать своих дочерей, дабы продлить собственную жизнь. Максим Иванович сначала обрекает на смерть девочек, дочерей молодого купца, а затем становится виновным в самоубийстве восьмилетнего своего воспитанника. В конечном счете Скотобойников покушается на Бога. Отказываясь вернуть вдове дом, он отклоняет просьбу не кого-нибудь, – самой Богородицы, незримо охраняющей сирот. Ее именем молит несчастная мать, молитва – в жесте: “Кончилась обедня, вышел Максим Иванович, и все деточки, все-то рядком стали перед ним на коленки – научила она их перед тем, и ручки перед собой ладошками как один сложили, а сама за ними, с пятым ребенком на руках, земно при всех людях ему поклонилась...” (13; 315). Второй раз он отворачивается от Христа: забрав мальчика к себе “в самый великий день”, на Пасху, Скотобойников принимает ответственность за душу ребенка перед Господом, а в результате – самоубийство сына вдовы. Это преступление перед Спасителем, победившим, поправшим смерть воскресением из мертвых. Особенно потрясен Максим Иванович тем обстоятельством, что воспитанник его уже не младенец, а отрок. Учитель Петр Степанович непреклонно отвергает уловку: “Все же он хотя некий ответ должен дать” (13; 319), намекает на адские мучения самоубийцы. Бросился-то он в воду напротив сияющего “златыми главами” Божиего Храма. К аду толкнул Скотобойников, ответствующий за то, чтобы указать двери в рай.

Здесь важно вспомнить значение имени и отчества Максима Ивановича, “Максим” – величайший (лат.), Иоанн – благодать Божия (евр.). Величайшим в благодати Божией должен быть человек, ее вместилищем и ее отдачей, домом, Церковью. Тьма преступлений затушевывает от героя предназначение, как бы стирает имя, однако она – туманность греха – в итоге бессильна. Торжествует назначенное, ставшее добровольным выбором лич-

ности, зло отвергнуто. В неизбежность уничтожения зла верит Макар Долгорукий. Он лишь однажды называет фамилию Скотобойникова – “Жил купец, Скотобойников прозывался...” (13; 313), – тридцать пять раз имя и отчество, знаменуя тем силу духовного очищения и просветления. История же жизни Максима Ивановича оказывается поучающим примером.

Гибельность поступков и слова – следствие не только дьявольского прельщения, но и звенящего безгласия души. И Громобой, и Скотобойников – полые до времени сосуды. Оба, кстати, теряют ощущение радости бытия. Настроение Громобоя после второй сделки с дьяволом мрачно и тоскливо: “Увы! и красный Божій міръ. // И жизнь ему постылы; // Онъ въ людствѣ дикъ, въ семействѣ сирь; // Онъ вживѣ снѣдъ могилы”. Душа лишилась упования и веселья, исходящих только от Создателя. Скотобойников после смерти отрока “больно уж” “опечалился” (13; 318). Уныние ведет к онтологической смерти. Признание собственного преступления и жажда искупления освещают путь:

*Но взоръ возвелъ онъ къ небесамъ
Въ душевномъ сокрушенѣ
И мнитъ: “самъ Богъ вѣщаетъ намъ –
Въ раскаянѣи спасенѣе.
Возносятся предъ вышній тронъ
Преступниковъ стенанѣя...”*

Громобой превращает дом в “обитель покаянѣя”, приют для всех нуждающихся. Свои долги раздает и Максим Иванович: “Стал жалостлив беспримерно, даже к скотам...” (13; 321). Устраняется диссонирующее звучание фамилии, подавляется безобразное в ней, стало быть, – и в бытии. Признавая имя Христа и действуя во имя Христово, Громобой воздвигает Божий Храм – “Подобѣ свѣтла рая, // Обитель иноковъ при немъ // Является святая”. Сооружает церковь и Скотобойников. Герой баллады усердно молится перед образом угодника. Монастыри посещает Максим Иванович. Даже желание героев написать не то картину, не то икону – общее. Специально приглашаются мастера. Оба образа должны стать знаками раскаянѣя. Однако если Громобой стремится получить прощение у Бога прежде всего для себя, отчасти и для дочерей – “на той иконѣ Громобой // Быль видимъ съ дочерями”, то Скотобойников, требуя создать фигуру мальчика-мученика: “И раскрой ты перед ним с той стороны, над церковью, небо, и чтобы все ангелы во свете небесном летели встречать его” (13; 319), совершает молитву за грешника, о которой рассуждает Макар Долгорукий, спасительную для последующей судьбы оступившегося. Промыслительность же такова, что молитвенное памятование помогает одновременно Максиму Ивановичу.

Душа Громобоя самим Всевышним отдана во ад до времен искупительных, когда его дочери проснутся, увидев чудесного посланца небес. Им ста-

нет Вадим. После этого спасение будет даровано Громобоя: “И низойдетъ тогда покой //Къ могилѣ искупленной; //И будетъ миръ въ его костяхъ; //И претворенный въ радость, //Творца постигнувъ въ небесахъ, //Речеть: Господь есть Благость!..”. Нечто похожее в варианте Достоевского – рассказ черта о мыслителе и философе (роман “Братья Карамазовы”), прошедшем через отвержение “законов, совести, веры”, “будущей жизни”, обреченном за греховные сомнения на “квадриллион километров” мрака и пропевшем осанну Богу за две секунды бытия в раю (15; 78 – 79). Осанну должна пропеть и душа Громобоя после тяжкого и мучительного ожидания, после явления Вадима.

Прощения от отрока чаает Максим Иванович с новой своей супругой, разделяющей вину. Это же прощения ждет весь город, окруженный тенетой духовной слепоты. Приходит время разрубить узы греха. Молодой купец на смертном одре – “в последний час” – проклял Максима Ивановича (13; 314). Слова проклятья эхом повторяются в отказе отдать дом вдове: “Покойник-то меня на смертном одре проклинал” (13; 315). “Вдовица”, оставшись без жилища и денег, просит у Бога смерти детей, понуждает же ее разочарование и безысходность отчаяния. Так и она оказалась той рукой, которая подвела сына к речному омуту. Все виновны, всем нужен Спаситель. Все жаждут прощения, знака его. И получают живительное знаменование. Рожденный сын Максима Ивановича искупает вину отца. После крестин младенец живет восемь дней, день за каждый год утопившегося отрока. Да и символика числа “восемь” апокалиптика, приобщает к преображенью. Решительно другим предстает миробытие и Скотобойникова, и его жены, и всего города. Страх вдовы сменяется “милостью” в сердце, недоверие и обиды горожан – молитвой. Сам же Максим Иванович впервые искренно, по-настоящему уповаает на Бога, служит Ему: “...за скорби и странствия предстоящие не оставит без воздаяния Господь...” (13; 322).

Конец “Вадима” антиномичен началу “Громобоя”. Если в первой балладе – картины духовной тьмы, чему соответствует описание природного мира – “пѣнистый Днѣпръ”, “страшная стремнина”, “глухая полночь”, туманность, мгла, “вѣтеръ свищеть”, то во второй – апология света: вместо полуночи – “свѣтлый часъ //Земли преображенья”, вместо свиста и страшного шепота – “Востока ангелъ въ тишинѣ //На край небесъ взлетаетъ”. Вертикаль тоже претворена: взамен взгляда в сатанинский низ взор в открытое, распахнутое небо. Стенание героя сменяется хвалебным хором. Как символ благодатного преодоления преступного и обретения рая “сквозь занавѣсъ зари //Блещаетъ крестъ; сляяны // Изъ свѣта зрятся алтари”. Зримы души дев вместе с серафимами, предстоящие перед Богом.

Финал истории Скотобойникова – подобное же разительное преображение, открытие для себя и для всех простора жизни в Боге, что символизирует странничество Максима Ивановича, беспорядок начала – в прошлом,

явлено благообразие, причем в просветлении земного бытия. Прощение свыше потребовало отпущения долгов, полной правды, любви и осветленной смиренности. Как бы реализуется сила слов “Отче наш, иже еси на Небесех! Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли...”.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ См., например, одну из лучших работ на эту тему: **Назирова Р.Г.** Достоевский и романтизм // Проблемы теории и история литературы. М. С. 171.

² В сороковые годы XIX века Жуковский писал уверенно: “...Богъ существуетъ. Богъ самостоятельное, личное самознающее бытіе, источникъ всякаго бытія, невидимый видимаго Создатель. Богъ есть положительное добро, положительная правда, положительная истина, положительная красота...” (**Жуковский В.А.** Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1902. Т. 11. С. 18)

³ **Зайцев Б.** Жуковский // Зайцев Б. Далекое. М., 1991. С. 140.

⁴ **Достоевский А.М.** Из “Воспоминаний” // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1990. Т. 1. С. 85.

⁵ **Савельев А.И.** Воспоминания о Ф.М. Достоевском // Ф.М. Достоевский в воспоминаниях современников... Т. 1. С. 165.

⁶ **Жуковский В.А.** Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1902. Т. 4. С. 28 – 31. Элегия цитируется по этому изданию и далее.

⁷ Со словами Макара Долгорукого корреспондируются строки элегии в переводе 1802 года:

*А вы, наперсники фортуны ослѣпленны,
Напрасно спящихъ здѣсь спешите презирать
За то, что гробы ихъ непышны и забвенны,
Что лествицъ имъ алтарей не мыслить воздвигать.*

<...>

*Любовь на камнѣ семъ ихъ память сохранила,
Ихъ лѣта, имена потщившись начертать;
Окрестъ библейскую мораль изобразила,
По коей мы должны учиться умирать.*

(**Жуковский В.А.** Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1902. Т. 1. С. 15 – 16. Перевод 1802 г. цитируется по этому изданию — С. 15 – 17.)

⁸ Зарубежная поэзия в переводах В.А. Жуковского: В 2 т. М., 1985. Т. 1. С. 331. (Но больше не раскрыть ему достоинств // Или не обнаружить ему слабости из своего страшного жилища, // (Там они одинаковы в трепещущем чаянии покоя), // Лона его Отца и его Бога.)

⁹ Краткий православный молитвослов. М., 1990. С. 15.

¹⁰ **Жуковский В.А.** Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1902. Т. 1. С. 71 – 90.